

Снежана Павлова

Дмитрий Бобышев: портреты в лицах



Борис Пастернак, Анна Ахматова, Иосиф Бродский, Сергей Довлатов, Белла Ахмадулина... Их нет в живых, однако золотые строфы и воспоминания об этих отмеченных Богом поэтах будут вызывать интерес еще долгие времена. Одним из щедрых авторов на воспоминания эпохи 60-х является поэт, профессор-славист, живущий в США, Дмитрий Бобышев. Свой литературный роман длиною в жизнь, с персонажами, талантли-

выми и одиозными, мудрыми и вневременными, он описал в своих книгах «Я здесь. Человекотекст», «Автопортрет в лицах». Сейчас он работает над последним томом автобиографической трилогии, одновременно печатая написанные главы в журнале «Юность», выходящем в Москве.

Об отдельных эпизодах своей судьбы, друзьях и учителях, он поведал в интервью.

Ахмадулина служила лишь своей Музе

– Недавно умерла Белла Ахмадулина. С ней вы были знакомы. Помните, когда вы впервые услышали имя Ахмадулиной?

– Еще бы не помнить! Это было в конце 50-х. Тогда ходила легенда о ней: мол, есть в Москве замечательная поэтесса из моло-

дых, получше, чем эти комсомольские Евтушенко, Рождественский, Вознесенский! Потом я услышал ее голос в магнитофонной записи. Запись была технически ужасная, а голос – прелестный. И с этим голосом гармонически и сладостно сочетались образы ее стихов:

Дитя, не будь умней отца,
не трогай этого растенья.
Его лилового венца
мучительно прикосновенье.
Но одержимый жаждой боли,
не в силах справиться с собой,
ты выбегаешь утром в поле,
чтобы изведать эту боль.

Трогательна была и падающая интонация, с которой она читала.

Не знаю, напечатала ли Ахмадулина эти стихи поздней, но я их запомнил со слуха.

Оказавшись в Москве, мы с Евгением Рейном решили посетить ее. Она тогда находилась «за пять минут» до ее официальной славы, но встречала нас у себя дома очень свойски и дружелюбно, как сестра по перу.

– Она была замужем за известным уже тогда Евтушенко...

– Да, он как раз откуда-то вернулся домой, когда мы только разговорились с Беллой, но к нам не присоединился. Наверное, семейные отношения у них уже шли к концу. Запомнились не очень приятные диалоги поэтов-супругов: Белла принимала нас на кухне, а он кричал из другой комнаты о том, что в квартире бедлам, приказывал немедленно убрать, вымыть пол на кухне, был раздраженным. Она его притом спокойно умиротворяла. Но мы, разумеется, заторопились покинуть эту сцену... Вскоре Ахмадулина взлетела и стала частью советской элиты. Ахмадулина сочиняла великолепные стихи, произносила их и как бы пела, и выпела всю себя за свою счастливую творческую жизнь, но остались не до конца спетыми высокие темы (ангелические, духовные, словом – лермонтовские), которые обещал голос поэтессы, так неразрывно связанный с ее гортанью, легкими, сердцем, душой.

Я видел ее еще раз в Ленинграде, когда московские знаменитости приезжали к нам выступать и общаться в первой половине 60-х. Она была очень мила и любезна, но как-то очень высоко держала себя, воспаряя над нами...

В ее гостиничном номере было трезво и чопорно. Помню, что тогда из примыкающего покоя выглянул на минуту ее новый муж – коренастый, густо-седой, со сморщенным лицом и цепкими глазами: писатель Юрий Нагибин. Его ранняя повесть «Трубка» принесла ему ошеломительный успех еще при Сталине. «Трубку» эту без конца передавали по радио. Но его писательское мастерство оставалось отмечено высокой маркой и в после-, и в антисталинские времена.

– Тогда уже к месту будет спросить и о последнем муже Ахмадулиной. Вы были знакомы?

– Всего раз я его увидел в последнюю встречу с Беллой Ахмадулиной – на 200-летию Пушкина в доме Энгельгардта на Невском проспекте, в кулуарах после выступлений. Я его почему-то представлял иным: каким-то важным, элитарным, более советским, что ли... Но мне очень понравилось, как он держался, – симпатичный и широкоглазый художник Борис Мессерер. Мы обменялись словами приветствия и симпатии. Он подозвал Беллу, и она произнесла механически не в первый раз фразу о том, что ее поклонники-ленинградцы ценят ее больше, чем москвичи. Мои последние впечатления о ней – увы, увы, как о сгоревший спичке...

– Не падала ли тень на Ахмадулину от того факта, что ее мать работала переводчицей в КГБ?

– Как поэт она служила лишь своей Музе. Удивительно, что у нее, в отличие от поэтов ее круга, совершенно отсутствуют просоветские идеологические стихи. При этом власти ее щадили, она печаталась в периодике, издавала книги...

– В Америке вы встречались? Американцам знакомо имя Ахмадулиной?

– Нет, встречаться не приходилось. Если считать американцами наших эмигрантов, то да, конечно, ее знают. У Ахмадулиной были, да и сейчас, наверное, остались неистовые поклонники и поклонницы, которые старались сделать ее выступления

в Штатах праздничными. Они увезли любовь к ее стихам с собой в Америку. Что же касается сугубо американских читателей, то среди них интерес не только к русской, но и вообще к переводной иноязычной поэзии невелик. Да и своей англоязычной интересуется лишь определенный, близкий к литературе круг. Ну, а слависты, конечно, знают Ахмадулину по долгу службы, да и нельзя ведь профессионалу не признать и не оценить ее высокий литературный ранг. Это большое имя в современной поэзии. Что касается американских реалий, так она почетный член Американской академии искусств и литературы, как пишут справочные источники. Ее заявления в защиту советских диссидентов Андрея Сахарова, Льва Копелева, Георгия Владимова, Владимира Войновича публиковались в «Нью-Йорк таймс», неоднократно передавались по «Радио Свобода» и «Голосу Америки».

Ахматова учила достоинству

- Вас и ваших друзей – поэтов Евгения Рейна, Анатолия Наймана, Иосифа Бродского – называли «ахматовскими мальчиками». Такое «звание» дорогого стоит.

- К тому времени, когда мы познакомились с Ахматовой, а это случилось, как я припоминаю, в 1960 году в Ленинграде, мы были уже не мальчики, но весьма молоды, а Бродский еще на четыре года моложе нас. Поэтому Ахматова, которой было уже за 70 на момент нашей встречи, могла нас так называть. И тем не менее, она, как правило, звала нас по имени-отчеству. Это была, конечно, большая жизненная удача в том, что нас одарила своим вниманием и дружбой великая, в то время еще опальная поэтесса.

- Как вы познакомились с Анной Ахматовой?

- Первым с ней познакомился Найман – думаю, через Зою Томашевскую, архитектора, дочь известного литературоведа. А нашу встречу устроил Рейн.

Я был убежден, что это произойдет по испытанному сценарию «студентов из Ленинграда», как бывало не раз в Москве, но из студенческого возраста мы уже выросли. К тому же Рейн, очевидно, заранее сговорился и знал обстоятельства: мы зашли в кан-



Анна Ахматова. 1966 г.

целярский магазин, и он купил шпагату и оберточной бумаги. Он уверенно позвонил в дверь второго этажа дома, мимо которого я тысячу раз уже проходил, никак не ожидая на этой улице вообще ничего примечательного: наша семья жила в двух кварталах неподалеку, и няня Федосья ходила туда за продуктами.

Открыла сама Ахматова, полная, благообразно седая и, повернув свой неопровержимый профиль, бросила вглубь квартиры (властный голос, нежные модуляции): «Ханна, здесь молодые люди к нам пришли...». Ханна Вульфовна Горенко, родственница Ахматовой, гостила тогда у нее. Оказалось, что мы с Женей Рейном были призваны помочь в упаковке книг. Ахматова с остатками семьи Пуниных получила квартиру в писательском доме на Петроградской стороне. Помощь от нас была невелика, да и Ахматова не торопила. Наоборот, чуть ли не каждая книга, снимаемая с полок, сопровождалась каким-либо комментарием; многие были с автографами, пастернаковские – с обширными надписями. С гордостью она показывала научные статьи ее сына Льва

Николаевича Гумилева. Так наша работа по упаковке переросла в разговор о литературе. Ахматова не удивилась, узнав, что мы оба пишем стихи, и предложила перейти нам в смежную малую комнату и почитать по одному стихотворению. Потом попросила еще. После прослушивания она объявила, что «стихи состоялись», но «надо писать короче».

– А Блок считал, что идеальный объем стихотворения – от 24 до 28 строчек, – выпалил вдруг я и заметил на себе предостерегающий взгляд Рейна. От него-то я и узнал о таком мнении Блока, но, вероятно, как многое другое, это было одним из вымыслов моего друга.

– Блок... Хотите, я расскажу вам, как у меня НЕ БЫЛО романа с Блоком?..

И она рассказала сначала о том, как после их общего выступления перед студентами молодой распорядитель, вместо того чтобы просто отпустить их вдвоем на извозчике, оказывал им почести и развозил каждого в авто по домам. А затем – о случайной встрече на железнодорожной станции и его быстром вопросе: «Вы едете одна?».

– Бог знает, что было у него в уме. А сам он ехал тогда с матерью, я узнала об этом из его «Дневника». Вот и все. Эти догадки о нашем романе – не что иное, как «народные чаяния».

– Может, Ахматова еще о каких-либо знакомствах с другими поэтами рассказывала во время ваших встреч?

– Рассказывала, как Гумилев познакомил ее с Осипом Мандельштамом. Это произошло в знаменитой Башне, где была квартира Вячеслава Иванова. «Мандельштам стоял на смотровой площадке на крыше, вцепившись в поручни так, что косточки его пальцев побелели...» – помню пословно эту фразу Ахматовой. Позже они встречались очень часто, ходили вдвоем на концерты. Однажды ее это озаботило: не слишком ли часто? Мандельштам почувствовал, обиделся и пропал на долгое время. Они встретились опять, когда он был женат, и она подружилась с Надеждой Яковлевной. Они обе оказались в Ташкенте во время эвакуации и особенно сблизились. Мы говорили и о Цветаевой, о ее последних нелегких днях жизни, о ее сыне, с которым не получилось понимания, и о Пастернаке, которого погубил роман «Доктор Жива-

го», где он, как Гоголь в «Переписке с друзьями», попытался сказать «всю правду».

– А о Модильяни рассказывала? Вроде как у них был роман...

– Я помню, что над высокой кроватью висел рисунок Модильяни. Она кратко рассказывала о знакомстве с Модильяни, с запоминающимися деталями: например, с раскиданными по полу мастерской розами. О рисунке было замечено отдельно, что их еще была целая серия – числом до двадцати. Хранились они в Царском Селе, но пропали: их скурили красноармейцы на папиросы. Мне еще тогда показалось странным: уж наверняка солдаты предпочли бы для самокруток что-нибудь помягче, чем рисовальная бумага, – газету, например. Лишь много, много лет позже, целую вечность спустя, я узнал о сенсационном обнаружении коллекции доктора Поля Александра, врача, лечившего Модильяни. Не хотелось верить в подлинность рисунков, глаза отказывались их признать, ум искал уловок: не может профессиональный художник использовать, например, пунктирную линию для изображения нагой женской груди. Нет, оказывается, может! И – да, это все-таки она. У меня не осталось сомнений, что у нее был роман с Амедео.

– Как держалась Ахматова с вами? Наверно, величаво?

– Да, она была величественна, даже царственна, но оживлялась и делалась доброй, и в то же время могла быть очень смешливой. Ее остроумие – великолепное, блестящее, в некоторых случаях убийственное. Вот она рассказывала, как лежала после третьего инфаркта в больнице на Васильевском острове в тяжелом состоянии, к ней не было доступа. Но правдами и неправдами к ней пробился молодой московский поэт. Он пробрался с единственной целью – узнать мнение Ахматовой, кто первый поэт: Цветаева, Мандельштам или Пастернак. Заметим, что молодой человек ее саму не включил в свой перечень. Ахматова нашла в себе силы ответить следующее: «Все они звезды первой величины, и не нужно превращать их в чучела наподобие подушек или диванных валиков, чтобы этими валиками избивать друг друга».

– Чем вызвано посвящение вам Ахматовой стихотворения «Пятая роза»?



Е. Рейн и И. Бродский. 1961 г.

– В день ее рождения я однажды привез ей пять свежайших роз, из которых четыре в положенный срок увяли, а пятая, по ее словам, «необыкновенно хорошо расцвела и долго творила чудеса, едва не летая по комнате». С этим букетом я преподнес ей стихотворение, в котором просил, чуть ли не требовал ответных стихов – не только для себя, но и для моих друзей-стихотворцев. И вскоре она одарила Бродского «Последней», Наймана – «Небывшей», а меня – «Пятой розой». В разговорах с ней случались паузы, которые

требовали от собеседника заполнения, – но не словесной чепухой, конечно, а мыслями на том же уровне. И такие мысли возникали и произносились.

Казалось, разговоры с ней о ее поэзии, о Мандельштаме, Гумилеве, о Серебряном веке вообще, о Пушкине, Горации и даже о египетских писцах, которых она тогда переводила, будут длиться вечно. Но вот – 55 лет назад – ее вдруг не стало. На ее похоронах четыре упомянутых стихотворца встретились все вместе в последний раз. В своем цикле «Траурные октавы» я назвал их «ахматовскими сиротами», и это название как-то прижилось, потому что оно определило былую общность.

– А как относились к стихам, которые ей посвящали вы, Бродский?

– Она называла их мадригалами – есть такая старинная форма любовного стихотворения. И действительно – все мы были как-то сыновне, литературно и, конечно, платонически влюблены в нее. Вот, например, какое «пылкое» письмо я отправил ей, когда она месяца на два загостилась в Москве (публикую впервые):

«Дорогая Анна Андреевна!

Вас уже так долго здесь нет, что никакие «скучаю» не выражают и доли Вашего отсутствия. И все-таки не это обстоятельство убеждает и просит меня написать Вам, а слишком большая и постоянная необходимость видеть Вас, которая из-за ее чрезмерности делает желаемое невозможным. Мне нужно, кажется, меньше Вас любить, чтобы встречи с Вами случались так часто, как они могли бы.

Сейчас я могу уже сказать, что, вероятно, отсюда произошла и неловкость моего посвящения Вам. Частично это же выразил и случай с моим мадригалом: счастье, которое я испытал, принимая Вашу «Пятую розу», казалось тогда непомерным – я мог бы целиком поместиться в многоточии ее эпитафии.

Я постоянно чувствовал все это время, что Вы отсутствуете, живую тишину Вашего ответного отношения, и только теперь она вдруг ощутилась как молчание. Я знаю, что вы наверняка поймете меня, если я скажу, что дело здесь, вероятно, даже не в тех стихотворениях, которые мне довелось услышать от Вас, возможно, даже «дело не в любви», а все заключается в каком-то неназванном чувстве неизбежного, фатального, что ли, которое прямым образом связано у меня с Вами. Это не логика и не психология, – я имею в виду Ваш дар извлекать беспредельность из малого или случайного. Что же говорить обо мне, схватившем едва-едва, наспех, эту ноту на лету, и у меня еще кружится голова от открывшейся прорвы внизу и сверху, от пространства, которое стало просматриваться насквозь, до дыр, – только то и сказать, что вижу в этом свидетельство прямой и полной связи с Вашим образом, с Вами.

Я считал всегда, Анна Андреевна, что не только объяснять Вам, но и объясняться с Вами не обязательно и даже лишне, – Вы и так знаете. Но хочу назвать для Вас, как они ни громоздки, три вещи: мою приверженность, любовь и беспредельность.

Теперь я жду случая увидеть Вас, а пока до встречи, пусть это письмо и не прибавит ничего к тишине, но все же отбавит хоть какую-то долю от молчания.

Бобышев».

– Какие уроки преподнесла вам Анна Андреевна?

- Не только литературные (хотя и эти тоже - в реакциях и оценках), но и человеческие: как поэт должен держать себя в пору испытаний, которую и мы застали. Я однажды разговаривал именно на эту тему с Бродским еще в Питере. Ахматова тогда была жива. Я сказал, что нас четверых (его, меня и Наймана с Рейном) другие люди воспринимают как тесную группу ее учеников. Согласен ли он с этим? Он хоть и с некоторой неохотой, но согласился. Тогда я спросил: чему учит Ахматова? Меня, например - достоинству. Человеческому и цеховому (имея в виду гумилевский Цех поэтов). Он, вдруг возбудившись, ответил: «Достоинству? Нет, величию!». Действительно, с той поры держал он себя статуарно... Я думаю, это из-за того, что он никогда не видел Пастернака.

- А как считаете, что Ахматова для себя брала из общения с молодежью?

- Думаю, что не только она нам, но и мы ей были нужны: она проверяла на наш молодой вкус свою работу над большим стилем, над крупными формами. Например, она мне - единственному слушателю! - однажды прочитала всю «Поэму без героя». Ей было важно узнать, как воспринимается на свежий слух последняя, самая полная версия поэмы. Я тогда был заморожен, переполнен ритмами и образами поэмы. А для нас признание и общение с Ахматовой было мощной поддержкой, когда нас не печатали, ругали в газетах. Помню, что сказала Ахматова после встречи с Иосифом Бродским:

- У меня вчера был Иосиф. Он говорил, что у него в стихах главное - метафизика, а у Димы - совесть. Я ему ответила: «В стихах Дмитрия Васильевича есть нечто большее: это - поэзия». Такая оценка дорого стоит.

- Читают Ахматову в Америке?

- Ахматову по-прежнему читают, она по-прежнему ведет свой интимный и душевный диалог с отдельной личностью и - одновременно - с огромной национальной аудиторией. И более того - с интернациональной. Я долгое время преподавал русскую литературу в Иллинойском университете - колоссальном культурном и научном центре американского Среднего Запада, расположенном в сдвоенном городе Урбана-Шампейн, примерно в двух часах езды к югу от Чикаго. Один из моих курсов был целиком построен

на поэзии Ахматовой, благо что к ее столетию был выпущен в Бостоне двуязычный двухтомник самого полного на тот момент собрания ее стихотворений в переводах Джудит Хемшемайер.

Живые глаза студентов – самое верное свидетельство о том, что ее поэзия обращена прямо к сердцу.

– А вы Пастернака успели застать?

– С тем же Рейном мы навестили Пастернака в Москве летом 1956 года. «Доктора Живаго» он закончил, и мы читали уже в самиздате стихи из романа, но вся последующая драматическая история, видимо, только начиналась. Мы пришли, чтобы увидеть его и выразить восхищение его поэзией. Он сам открыл дверь. Несмотря на раннее утро, он выглядел приветливым и свежим: седая челка, молодежовое загорелое лицо, живые глаза, нарядный голубой пиджак с галстуком.

Я разглядел в уголке его глаза красный узелок лопнувшего сосуда и связал это с недавно перенесенным инфарктом. Узнав, что мы студенты из Ленинграда, он пригласил нас внутрь, в боковую комнату с полками книг, сам, грохоча по коридору, принес стулья и рассадил нас. Сказал, что роман – это главный труд жизни, а прочее, в особенности ранние стихи, которые мы так любили, «это – алхимия». Посоветовал, если мы очень интересуемся поэзией, познакомиться в Ленинграде с Ахматовой, что впоследствии и исполнилось. Вот тогда мы были перед ним почти совсем мальчишки, едва достигшие 20 лет, но он держался с нами на равных, с удивительной простотой и радушием.

Бродский не простил измену

– Через годы дружба ахматовской «четверки» разладилась. Какова причина?

– Одна из причин – я, другая – Иосиф. Точней – наши отношения. Плюс свои проблемы у Рейна с Найманом. Но изначально все-таки Иосиф. В какой-то момент он поверил в свою великую миссию, осознал себя выше всех и стал других использовать ради своих целей. А до того был так мил и дружелюбен! Кто-то ему подчинился, а кто-то – нет. Это внесло соперничество, ссоры, раскол.



Похороны Ахматовой 10 марта 1966. В толпе – А. Найман, Е. Рейн, Д. Бобышев, И. Бродский

Похороны Ахматовой в последний раз собрали нас вместе. И я написал «Траурные октавы», в которых есть такие строчки:

...в череду утрат
заходят Ося, Толя, Женя, Дима
ахматовскими сиротами, в ряд.
Их дружба, как и жизнь, необратима.

Отсюда нас так и стали называть: «Ахматовские сироты».

Но есть еще иная причина разлада: каждый из ансамбля начал петь своим голосом. То есть – перешел на соло.

– Считаете ли вы предательством ваши отношения с невестой Бродского Мариной Басмановой?

– Прежде всего, она не была его невестой. И – кто кого предал? Он однажды так нагрубил мне, что я перестал его считать другом. А столкновения на любовной почве происходят постоянно, особенно в молодости, это нормально. Соперники дерутся, бодаются рогами, а чаще находят более мирные способы выяснения отношений. Есть, конечно, людская этика, следуя которой хорошие друзья стараются не увлекаться и не ухаживать за подругами

своих друзей. Но когда друзья уже не друзья, а подруга уверяет, что она свободна, то в чем моральная проблема? Кому-то обидно, кто-то продолжает ревновать, ну и что? Нужно и самому быть мужчиной, не впадать в истерику, не угрожать самоубийством. Женщина ведь не собственность, особенно когда она не связана обязательствами. Она и решает спор.

Но Иосиф широко обнародовал этот личный конфликт и то, что решают меж собой лишь участники, передал на обсуждение всему кругу знакомых, всей «прогрессивной» общественности, которая сильно сочувствовала ему, – пусть и по другому, чисто политическому поводу. Кстати, граждански и я сочувствовал ему, и даже отправил в писательскую организацию заявление в его защиту, когда начались преследования. Но общественность, побаивающаяся властей, обрушилась с обвинениями на меня как на безопасную цель или, скорей, как на «козла отпущения». Наш конфликт с Иосифом затянулся на период его суда и ссылки, когда началась его международная известность, и тут уже я стал для многих – очевидным «предателем», «завистником» и даже «бездарностью», стихи которого они не читали и даже не желали читать.

Между прочим, Довлатов, разобравшись с ситуацией, хорошо объяснил мне эту непримиримость: «С КГБ не поспоришь, а Бобышеву не подать руки – куда проще».

Таким несложным и неопасным способом люди демонстрировали свою гражданскую добродетель.

– Кстати, Андрей Битов в одном из рассказов, правда, в допечатном варианте, дал своему персонажу, достаточно аморальному, вашу фамилию.

– Да, это касается его рассказа «Пенелопа». Он тоже вознамерился наказать меня за Бродского. Но при чем тут Битов? Кто он – высший суд? Про таких сказано: «Не судите, да не судимы будете». Я добился в издательстве того, чтобы Битов изменил фамилию персонажа, и он, вынужденно согласившись с требованиями начальства, потом рвал и метал по телефону, требуя меня на дуэль! Пусть бы он стрелялся с главным редактором издательства, а то и попросту отозвал свой рассказ. Но нет. Фамилию персонажа он покорно изменил, и рассказ был напечатан.



Бобышев и Рейн. 1961 г.

- А как Ахматова относилась к этой истории?

- Анна Андреевна говорила: «Так оно всегда и бывает», - и принимала у себя обоих «провинившихся».

- Почему именно Бродский был неуютен советским властям, ведь были и другие диссиденты среди вашего приятельского круга?

- Так ведь их тоже сажали! Наталью Горбаневскую держали в психушке. Поэт Юрий Галансков так и умер в лагере. Алика Гинзбурга посадили за поэтический альманах. Обстановка была такая, что после фельетона «Окололитератур-

ный трутень» в газете «Вечерний Ленинград» могли взять кого угодно: и Рейна, и Наймана, и меня, и Славинского. Нас уже не раз клеймили в прессе, а за этим мог последовать и арест. Но Бродский был уже арестован однажды на короткое время за намерение захватить самолет и угнать его за границу (Иосиф при этом предполагал разmozжить голову пилота камнем), но его отпустили. Так что на следующий раз он и оказался жертвой судебного процесса. А осужден был за тунеядство.

- Действительно ли Бродского устроили в психиатрическую лечебницу друзья, чтобы спасти от преследований?

- Увы, его друзья Ардов, Рейн и Ярмуш были убеждены, что спасти Бродского можно было, если упечь его в сумасшедший дом. Не придумали ничего лучше. Между прочим, у него и был белый билет по этой части, спасающий его от призыва в армию. Но это была их ошибка. Лучше бы они устроили его на какую-нибудь легкую работенку, это бы спасло его от обвинения в тунеядстве.

– Как так получилось, что некоторые ваши стихи присвоили Бродскому?

– Стихи были приписаны Бродскому в фельетоне «Окололитературный трутень». Авторы выхватили три отрывка из двух моих стихотворений 1960 и 61 годов. Это было всего лишь недоразумение, вызванное невежеством обвинителей.

– В Америке, в эмиграции вы встречались с Бродским?

– Однажды лишь пообщались по телефону. И то – ради объединяющей нас Ахматовой. Сговорились оба не участвовать в томе антологии самиздата, где поэт и составитель Кузьминский издевается над Анной Андреевной в мерзких пародиях. Помимо этого Иосиф спросил, не нуждаюсь ли я в его помощи, но я ответил, что нет. Какая могла быть помощь, и зачем? Лучше бы он извинился за оскорбления, с которых все началось, тогда бы и я извинился... Может быть, мы и примирились бы. Но в дальнейшем ничего положительного для меня от него не исходило, скорей наоборот. А сам я в стихах все-таки к нему обратился, прощаясь с уходящим веком:

Прощайте, Женя, Толя, даже ты –
да, ты, Иосиф, наконец, прости же...
Ты – жертва давняя моей тщеты,
как я – твоих амбиций и престижа.

Ответа от него не было.

– Ваши воспоминания о Бродском, запечатленные в книгах, многие из пишущей братии подвергли враждебной критике. Справедлива ли она, на ваш взгляд?

– Ну уж, какая тут справедливость – одна злоба. Сотворили себе кумира, вот он и требует жертв. Но мои книги-то совсем не о нем, а о моей собственной жизни, куда он каким-то образом и на некоторое время вплелся, и – все. Из него сотворили раззолоченного кумира, предмет обожания, а меня для контраста пытаются принизить. Я считаю, что прожил честную жизнь, пред властями не подличал, гадостей людям не делал, а мне десятилетиями суют одно и то же: «увел Марину»...

Эмигранты критиковали Солженицына

- Что за история, когда газета «Известия» упомянула вас среди «бездельников»? И почему вас не издавали на родине?

- Это хороший пример того, как мы действовали от себя, и как система реагировала. Еще в 56-м году после хрущевских обещаний о том, что «к прошлому нет возврата», мы тогда студенты Ленинградского технологического института, выпустили независимую стенгазету «Культура». Рейн писал в ней о живописи Сезанна, Найман об авангардном кинематографе, а я о молодом поэте Уфлянде. Эту инициативу грубо прихлопнули критической статьей в «Комсомольской правде», а стенгазету запретили. Я думаю, мы попали в «черный список», и наши стихи стали отвергаться любыми официальными изданиями. Но оставались устные полуподпольные выступления, появился самиздат. Александр Гинзбург из Москвы предложил мне участвовать в машинописном альманахе «Синтаксис», и я ему дал подборку своих ранних стихов. Альманах вышел, стал широко известен, о нем заговорили на Западе. Центральные «Известия» отозвались на это фельетоном «Бездельники карабкаются на Парнас» в № 209 в первых числах сентября 60-го года. Там упоминались многие участники, им давались уничижительные характеристики, среди «бездельников» был и я, работавший тогда инженером. После фельетона у меня на работе был сделан обыск, а Гинзбург получил свой первый срок лишения свободы.

- Не кажется ли вам, что именно сложная политическая ситуация в стране подарила нам таких самобытных поэтов-шестидесятников?

- Сложные ситуации были во все времена. И всегда были «неудобные» поэты, в том числе и в 60-е. Но вы знаете, мне не нравится сам этот термин по многим причинам. По-моему, его искусственно прицепило к нам следующее поколение в насмешку над старшими. Ведь с шестидесятниками XIX века связаны смазные сапоги и грубые манеры разночинцев. Какое это имеет отношение к нам? К тому же метрическими линейками литературу никак не измерить. Начнем с того, что движение, которое называют этим словом, началось не в 60-е, а раньше, в середине 50-х, в так

называемую «хрущевскую оттепель». В тот период выдвинулись новые имена, которые в последующее десятилетие – да и дальнейшем – прославились свежими голосами и весьма ограниченным (разрешенным сверху) либерализмом. Имена их настолько известны, что незачем и называть. Этот набор лиц был допущен в литературу, а дальше двери оказались заперты, и никто больше не допускался. Очень многие талантливые люди (в том числе мои товарищи) оказались за дверью и стали действовать неофициальными путями – через самиздат, тамиздат и т. д. Так что объединять одним термином эти столь отличающиеся явления мне представляется неправильным. Если они – «шестидесятники», мы – другие.

– Кстати, как оказались в Ленинграде? Ведь вы же родились в Украине.

– В Мариуполе до войны жили мои дед и бабушка – Иван Иванович и Ксения Никитична Павловы. Их три дочери выросли, уехали в Москву и Ленинград, получили образование, повыходили замуж. Моя мать Зинаида Ивановна была младшей, она стала ученым-химиком, а вышла замуж за архитектора Вячеслава Мещерякова. Когда пришла пора родить своего первенца (то есть будущего меня), она из Ленинграда поехала к родителям, где и произвела меня на свет, а потом увезла обратно. Но Мариуполь – это не только отметка в документе, он стал и в самом деле родным местом. Туда съезжались на летние отпуска все три сестры, с мужьями и детьми, а меня оставляли там на целое лето. Так, из Мариуполя мы, часть большой семьи, бежали, спасаясь от немцев летом 41-го вместе с отступающей армией – на восток и на юг, до Грузии. Мать с отцом остались в Ленинграде. Отец погиб в блокаду, а мать впоследствии вышла вторично замуж, и я стал носить фамилию отчима. С тех пор в Мариуполе я больше не бывал. И еще раз я побывал на Украине в 79-м году, незадолго перед моим отъездом из СССР. С этим связан еще один немаловажный факт моей жизни. Я женился на аспирантке-археологине, и мы отправились в свадебное путешествие «в глубину тысячелетий», то есть в экспедицию на раскопки в селе Межирич под Каневым. Там были открыты стоянки наших далеких предков, охотников на мамонтов. Моя молодая жена была американка русского

происхождения и вскоре она вернулась домой, а я еще через некоторое время получил заграничный паспорт и воссоединился с ней в Нью-Йорке.

- Не ощущаете с годами ностальгию по России? Возможно, мелькало желание вернуться из Америки, как это сделал, например, Аксенов?

- Признаюсь, у меня случались моменты ностальгии, но не отдельно по России или Украине, а по единой стране, по ее родным местам. Мучила болезненная мысль, что я никогда их не увижу. Однако когда я почувствовал, что Перестройка – это не ловушка, я приехал в Ленинград на побывку к матери, в дом на Таврической улице, где я вырос, и ностальгию как рукой сняло. Я встретил там новый 89-й год и с тех пор стал приезжать в Москву и Ленинград (а потом и Петербург) почти ежегодно. Я выступал со стихами и лекциями, читал доклады на научных и литературных конференциях и даже остался на осенний семестр 91-го года, чтобы прочитать курс лекций по литературе русской эмиграции сразу на двух филологических факультетах: в петербургском государственном и педагогическом университетах. И конечно, я регулярно печатался в «толстых журналах», в газетах, издал несколько книг в Питере и Москве. Моя американская семья к тому времени, увы, развалилась после 12-ти лет совместной жизни. Зато появилась однокурсница Галя, которая никуда не исчезала, и с которой мы переписывались все время! В связи с этим обстоятельством у меня вновь появились фантазии жить на два дома или хотя бы возобновить утраченное гражданство. Но не тут то было... Мой старый советский паспорт был так сильно просрочен, что его отказались менять на российский. И вообще, с гражданством возникли такие бюрократические сложности, что мои фантазии благополучно испарились. А Галя переехала ко мне в Америку. И я не жалею, что так сложилась моя жизнь. В Америку я ехал именно за счастьем, желая основать семью и достойную жизнь. Перед этим два советских издательства отказались печатать мою книгу, в результате чего образовался тупик, из которого я рвался прочь. И наоборот, в Париже к 79-му году вышла моя первая книга стихов «Зияния». Так что все подталкивало меня к отъезду, это была судьба. А в новой жизни бывало порой нелегко, но всег-

да – очень интересно! К слову, мой ментор и старший друг, поэт Первой волны Юрий Иваск признавал, что эмиграция может быть несчастьем. Но это и «увлекательное приключение на всю жизнь», – как писал он в предисловии к антологии поэтов Первой и Второй волны «На Западе».

– Одну из ваших книг проиллюстрировал известный художник Михаил Шемякин, который сотрудничал и был дружен с Владимиром Высоцким. Каким образом заслужили внимания Шемякина?

– С Шемякиным я познакомился еще в Ленинграде, побывав однажды в его мастерской, которая занимала комнату в обычной убогой коммуналке. Но сразу за его дверь начинался совсем иной мир. Его работы меня впечатлили сочетанием элегантности и грубой силы, заинтриговали гротескными фантазиями. Да и сама фигура молодого мастера выглядела эксцентрически, вне времени и пространства. Видимо, мои стихи были ему знакомы раньше по самиздату, потому что и он запомнил меня: спустя какое-то время, когда мы оба оказались в Соединенных Штатах, я получил из Нью-Йорка тяжеленную бандероль, которая следовала за мной по всем предыдущим адресам, пока не настигла в университетском городе на Среднем Западе. Это были два альбома цветных репродукций новых работ Шемякина с дружественнейшим посвящением. При первой возможности я навестил художника в Нью-Йорке, и он предложил мне издать книгу совместно: стихи мои, иллюстрации его. Я, конечно, с радостью принял это предложение, но решил, что для него я напишу совсем новую книгу стихов – таких, как шемякинская живопись, – гротескных, грубых и изысканных.



Найман и Басманова во Пскове. 1962 г.



Басманова, А. Белич, Н. Каменцева, 1970-е

И я придумал совместить два сюжета: легенду об искушениях святого Антония и средневековый бестиарий. Полтора года я работал над книгой, словесно изображая, как целая галерея чудовищ является аскету, чтобы устроить его, соблазнить, прервать его молитвенную связь с Богом. Но в конце святой побеждает самого себя, одолевает соблазны и заклинает зверей. Шемякину очень понравился мой текст, и он бурно начал работать над своей частью «Искушений св. Антония». Каждой странице текста соответствовал рисунок. Стихи и графика взаимно иллюстрировали друг друга. Шемякин торопился к открытию своей первой выставки в Третьяковской галерее в Москве и хотел там продать значительную часть тиража нашей книги. Он потом сокрушался, рассказывая по телефону: пока он давал интервью, все экземпляры растащили у него из-под ног. Я его пытался утешить: «Это – самый большой успех, какой только может быть!».

– Приходилось ли пересекаться с Высоцким?

– Нет, не приходилось, да я и не искал таких пересечений. Я признаю его талант, и не только исполнительский, но и поэтический, меня удивляет многоликость певческого образа Высоц-

кого (впрочем, тут уже сказывается его актерская выучка), но мне как-то не по сердцу его напор, надрыв, агрессия... Мне ближе задумчивый разговор по душам, а в этом я никого не нахожу равным Булату Шалвовичу Окуджаве. Вот с ним я познакомился очень рано, когда его слава только-только разгоралась, и он пел для своего удовольствия по московским литературным компаниям. Я совершенно влюбился в его ранние песни, ходил за ним, как парубок за гармонистом, да так и остался его приверженцем. Он знал мои стихи, сочувствовал тому, что их не печатают, и старался помочь, давая мне подстрочники для переводов (он работал редактором издательства, которое печатало поэзию народов СССР). И я был свидетелем его стремительного взлета, когда он стал кумиром (все-таки полуофициальным), и его концерты то запрещались, то на них ломилась публика, сдерживаемая конной милицией. С кумиром я встречался уже реже. Поздней мы увиделись с ним однажды, случайно оказавшись в том же месте в Германии. А еще позднее он удивил и растрогал меня, прислав в Америку свой стихотворный отзыв на мою книгу, впервые вышедшую в России.

Дима Бобышев пишет фантазии
по заморскому календарю,
и они долетают до Азии –
о Европе уж не говорю.
Дима Бобышев то ли в компьютере,
то ли в ручке находит резон...
Все, что наши года перепутали,
наострился распутывать он.
Дима Бобышев славно старается
без амбиций, светло, не спеша.
И меж нами граница стирается,
и сливаются боль и душа.

– Интересуются ли в Америке русской поэзией? Переводят ли?

– Изредка переводят, но плохо. И почти всегда без рифм: считается, что английский язык устал, и все рифмы предсказуемы. Рифмуют только поздравительные стишки или комические куплеты. Кроме того, хорошие признанные поэты редко занимаются

переводами: зачем им тратить свое время на каких-то иностранцев? Поэтому русские стихи по-английски становятся уделом аспирантов славянских отделений, знающих более или менее оба языка. Качество стихов при этом катастрофически теряется. Я одно время пытался это наладить, чтобы обеспечить свои двуязычные выступления по американским университетам. Договаривался со знакомыми местными поэтами, и они кое-что переводили из любезности... Но потом я получил денежный грант, и дело пошло веселей. Я решил, что эффективней всего будет действовать по советскому образцу. Я нанимал аспирантов, и они охотно делали буквальный перевод (под моим присмотром, конечно). А затем уже за хорошие деньги профессиональный поэт превращал этот полуфабрикат в добротные английские вирши! Таким промышленным способом мы перевели довольно много, и у меня появились публикации в антологиях и журналах США, Англии, Индии... А с отдельной книгой дело не дошло до конца – не хватало хорошей раскрутки! Впрочем, времена изменились, и я стал широко печататься в перестроечном Советском Союзе и в новой России, ведь читатель русских стихов именно там, а не на Западе.

– В Америке, в эмиграции, дружны ли литературные группировки, ощутим ли дух единства?

– Увы, насколько я ощущал, дух единения в писательской среде совершенно отсутствовал. Наоборот! Солженицын, в одиночестве совершавший свой писательский подвиг, прослыл националистом и консерватором, и на него накинута с резкой критикой диссиденты и журналисты либерального толка – сначала, после его «Гарвардской речи», – американские, а затем, как по команде, и эмигранты Третьей волны. В этом неблагодарном деле к ним присоединились Войнович и Синявский. С Синявским рассорился Максимов, редактор «Континента». Поклонники Бродского тоже не терпели Солженицына, а сам Бродский – Аксенова, которому чинил препятствия в американских издательствах, но помогал Довлатову. Из-за этого Довлатов дистанцировался от меня, которого не жаловал Бродский. Не жаловал он и Сашу Соколова, которого когда-то благословил Набоков. А Лимонов вообще заявил, что он слагает с себя звание русского пи-

сателя. Кузьминский, издатель антологии самиздата, ругал последними словами всех подряд. Вот так действовала на нашего брата свобода: воцарились безудержное личное самолюбие, безответственность и нетерпимость к чужому мнению. Тем дорожке оказались старые дружбы с собратями по перу и их поддержка. Я очень благодарен Горбаневской за инициативу и помощь в издании моей первой книги, за возможность печататься в «Русской мысли» и «Континенте». Спасибо Славинскому за добрые слова по радио Би-Би-Си. И сам я горячо приветствовал поэта Юрия Кублановского, когда он оказался на Западе.

Фото из личного архива Дмитрия Бобышева

